



# Игнатий Николаевич Потапенко

## **Полковник в отставке** (Записки старого студента #07)



Игнатий Николаевич Потапенко — незаслуженно забытый русский писатель, человек необычной судьбы. Он послужил прототипом Тригорина в чеховской «Чайке». Однако в отличие от своего драматургического двойника Потапенко действительно обладал литературным талантом. Наиболее яркие его произведения посвящены жизни приходского духовенства, — жизни, знакомой писателю не понаслышке. Его герои — незаметные отцы-подвижники, с сердцами, пламенно горящими любовью к Богу, и задавленные

нуждой сельские батюшки на отдаленных приходах, лукавые карьеристы и уморительные простаки... Повести и рассказы И.Н.Потапенко трогают читателя своей искренней, доверительной интонацией. Они полны то искрометного юмора, то глубокого сострадания, а то и горькой иронии.

Произведения Игнатия Потапенко (1856–1929), русского прозаика и драматурга, одного из самых популярных писателей 1890-х годов, печатались почти во всех ежемесячных и еженедельных журналах своего времени и всегда отличались яркой талантливостью исполнения. А мягкость тона писателя, изысканность и увлекательность сюжетов его книг очень быстро сделали Игнатия Потапенко любимцем читателей.

**Игнатий Николаевич  
Потапенко  
Полковник в отставке**

Это был странный дом... Он и стоял как-то посередине двора, не примыкая к улице, отделённый от неё деревянным забором с острыми шпицами. Калитка всегда была отперта, даже ночью. Все двери, которых было столько же, сколько стран света, были обыкновенно отворены настежь, и только во время зимней стужи их старались затворять, что, благодаря обилию входящих в этот дом, не всегда удавалось.

На воротах красовалась жестяная дощечка, на которой был обозначен участок, а также упомянуто и то обстоятельство, что дом принадлежит полковнику в отставке Казимиру Ивановичу Протасову. Он стоял в отдалённой части города; во все места от него было далеко. И тем не менее, никогда в нём не ощущалось недостатка в посетителях.

И посетители были большею частью всё одинакового типа. Всё это были молодые люди в более или менее сомнительных одеждах, лица попадались с бородами и совсем юные; нередко являлись сюда и молодые женщины в круглых шапочках, в пледах, иногда в очках. И все проходили через узенькую калитку

с необыкновенно уверенным видом и так же смело входили в дом. В доме они здоровались друг с другом, но нигде не отыскивали хозяйина и тотчас же начинали вести себя, как в своей квартире.

Самая обстановка комнат могла непривычного человека привести в недоумение. В каждой комнате непременно встречался диван, в некоторых стояли кровати, были также столы и стулья, но никаких излишних украшений ни по углам, ни на стенах.

Я был ещё очень молодым студентом, когда впервые вошёл в этот дом. Однажды мне пришлось выразить моему товарищу Варягину, уже довольно давнему студенту, мысль, что я затрудняюсь насчёт обеда, так как у меня в тот день не было денег.

— Так пойдём к полковнику! — сказал он мне просто.

— К какому полковнику? — спросил я.

— Как к какому? Ты не знаешь полковника?

— Нет... То есть, я знаю многих полковников, но что же из этого?

— Но ты не знаешь полковника Протасова,

Казимира Ивановича?

— Первый раз слышу.

— Ну, это всё равно. Так мы и пойдём к нему.

— Но как же я пойду, если я с ним не знаком?

— С кем? С полковником? Да с ним не надо быть знакомым.

— Не понимаю.

— А увидишь — поймёшь. Уж это такой особенный дом. Туда все ходят, кто хочет, вся наша братия...

Я колебался, но Варягин убедил меня. Сейчас после лекций, прямо из университета мы и пошли. Меня удивило уже то, что по дороге к нам присоединились ещё двое студентов старших курсов, которые тоже шли к полковнику.

Путь был не короток, но, наконец, мы дошли и, пройдя довольно обширный двор, очутились сперва в сенях, затем в комнате. Здесь было шумно, слышались разные голоса, а когда я огляделся, то заметил много знакомых; всё были студенты, между ними две-три дамы, но никого не заметил я такого, кого мож-

но было бы принять за хозяина.

— А! — встретили меня несколько голосов, — наконец-то, и вы пришли!

Всё это меня удивляло и было пока необъяснимо. Но вот раскрылась двустворчатая дверь, которая вела в ряд довольно больших комнат, очень похожих на ту, где были мы. Оттуда появился человек среднего роста, со значительным брюшком, с толстыми щёками и толстым носом, со всеми признаками доброты; губы его улыбались, и он промолвил, обращаясь, по-видимому, разом ко всем:

— А у вас весело... Я слышу, что здесь народ, вот и сам вышел повеселиться...

Все тотчас же обратились к нему — кто подавал руку, кто говорил приветствие. Все, очевидно, были с ним знакомы, только я стоял несколько в стороне и чувствовал себя неловко; но Варягин выручил меня; он взял меня за руку и подвёл к полковнику.

— Новичок! — сказал он. — Позвольте представить вам, полковник.

— А, вот и отлично! Милости просим. Надеюсь, такой же милый, как и все.

Я хотел что-то сказать, но мне это не уда-

лось, потому что полковника уже заняли чем-то другим.

Это было часов около трёх дня. Я заметил, что многие выходили из комнаты и затем, через некоторое время, возвращались с чем-нибудь съестным. Тот тащил на тарелке бифштекс, другой стакан кофе, затем они садились за один из столов, ели или пили, продолжая беседовать. Всех было здесь душ до десятка.

Я спросил у Варягина:

— Объясни, ради Бога, где мы? Что всё это значит? Куда они ходят? Откуда берут кушанья?

— Ах, да, чёрт возьми, — спохватился Варягин, — я совершенно забыл, что ты голоден. Пойдём!

Мы вышли во двор и, пройдя порядочное расстояние, остановились у небольшого флигелька, к которому примыкал другой, ещё меньший. Варягин объяснил мне:

— Чему ты тут удивляешься? Полковник, просто-напросто, добрейший человек, ему скучно, он любит молодёжь, живёт, как видишь, просто, любит, чтоб вокруг него был

шум, говор, симпатичные лица. У него есть средства, он одинок или, по крайней мере, живёт один. Где-то у него есть семья, но он, кажется, в разладе. Ему доставляет удовольствие, когда голодный у него насыщается, или тот, кому холодно, греется у него в квартире. Я, помню, как-то с неделю ночевал у него, когда потерял урок. и мне негде было спать. Другие делают то же самое... У него здесь пол-университета перебивало. Как видишь, всё здесь очень просто. Прислуги нет. Кто хочет добыть себе что-нибудь, тот отправляется сам. Вот этот флигелёк, это — кухня. Мы сюда и зайдём...

Мы вошли в кухню; Варягин, как старый знакомый, обратился к толстой краснощёкой кухарке, по фигуре очень напоминавшей самого полковника, с таким же добродушным лицом, толстым носом и влажными глазами, — и добыл мне тарелку щей и кусок мяса, Он же помогал мне тащить всё это в дом. Здесь я расположился за столом, рядом с кем-то другим, который делал то же самое, — и пообедал.

Полковника. теперь уже здесь не было, но

его исчезновение ничего не изменило. Я просидел здесь, пока не стало смеркаться, и затем ушёл к себе.

В другой раз я зашёл сюда утром и застал на столе большой самовар; вокруг него сидело порядочное общество, и все пили чай.

— А, самый молодой! — узнал меня полковник и усадил рядом с собой.

Тут, сидя очень близко от него, мне пришлось сделать открытие: от полковника пахло алкоголем. Это меня удивило тем больше, что в доме я никогда не видел ни пива, ни вина, ни водки. В этот же раз я впервые увидел старого слугу полковника Терентия. Эта личность появлялась среди нас очень редко. Он сидел постоянно в своей конуре и усердно молился Богу. Он никому из молодёжи не служил и был со всеми запанибрата. Служил он только полковнику, и служба его была очень несложная. Она вся заключалась в том, что Терентий чистил ему сапоги, набивал трубку и следил за тем, чтобы гардероб был в порядке; убирала комнаты и мыла полы кухарка.

Ещё раза три я побывал у полковника, и затем, — сам не знаю, как это случилось, — я

заметил, что с полковником у меня установились особые отношения. Ни с кем он не был так ласков, как со мною. Когда я приходил, он всегда издавал радостное восклицание, усаживал меня около себя и старался занять чем-нибудь. А однажды он попросил меня зайти к нему вечером. Вечером редко кто к нему ходил. Он иногда целые часы просиживал один и, должно быть, очень скучал. Я исполнил его просьбу.

— Не знаю, за что я полюбил тебя! — говорил он мне (он всем говорил «ты» — и мужчинам, и дамам). — Приходи же ко мне почаще, только вечером приходи, а то мне иногда жутко становится, когда всё один да один...

Я стал нередко проводить у него вечера. Обыкновенно в это время выползал из своей конуры и Терентий. Так как я пользовался особым расположением полковника, то и Терентий считал возможным снизойти до меня и оказывал мне некоторые услуги, например — наливал и подавал мне чай.

На сцену являлась шахматная доска, полковник брал меня за плечи и усаживал в кресло, а сам садился напротив. Я очень пло-

хо играл в шахматы. Полковник немного лучше меня. Но всё же ему ничего не стоило всякий раз устраивать мне мат. И это доставляло ему искреннее удовольствие.

Довольно часто во время игры он как-то таинственно подымался, причём лицо его делалось каким-то постным, как у человека, который собирается совершить маленький грех и хочет скрыть это, — и он говорил:

— Одну минутку, голубчик, я сейчас!..

Он уходил тогда в свою спальню, и там раздавался непонятный для меня шум дверей небольшого шкафика, который был вделан у него в стене. Повозившись там с минуту, он возвращался как бы обновлённый, — глаза у него блестели, язык развязывался, он начинал надо мной подшучивать, более шумно передвигал фигуры на шахматной доске и более громко выражал торжество по случаю своей победы надо мной. Все эти незначительные признаки давали мне некоторое объяснение его таинственному занятию в спальне. Но если я ещё мог сомневаться, то довольно откровенный аромат коньяка, который после таких эпизодов окружал голову полковника,

разъяснял мне всё. Полковник, очевидно, систематически выпивал и чувствовал потребность постоянно поддерживать в себе повышенное настроение.

Ни о чём особенном мы в это время не говорили. Замечания, которыми мы перекидывались, были незначительны. Меня занимал вопрос, почему полковник никогда ничего не ел в нашем обществе. Это мне казалось странным, потому что в его доме гости во всякое время что-нибудь непременно ели. Я спросил его.

— Да видишь ли, — ответил он, как мне показалось, не совсем охотно, — я не ем того, что вы едите.

— А что же?

— Видишь ли, я траву ем...

— Как траву?

— Да так вот, траву.

— Вы значит, вегетарианец?

— Ну, если хочешь, вегетарианец.

— Почему же это? Вы всегда не ели мяса?

— Нет, не всегда. Было время, когда и я жрал его.

— Почему же перестали?

— Так.

По-видимому, он не хотел мне объяснить. Но, выйдя после этого на минуту в спальню и вернувшись оттуда с новым запасом энергии, он сам, уже без моих вопросов начал говорить:

— Это, милый ты мой, страсти утишает...

Я не понял, о каких страстях он говорит. Ведь ему было под пятьдесят лет, и он производил впечатление человека умеренного и сдержанного.

— Зачем же это вам утишать страсть?

— Надоедали. Впрочем, ты этого не поймёшь. Да я вообще странный человек. Вот траву ем, молодёжь люблю. Многие меня за это дураком считают. А мне какое дело? Пусть считают! Не понимают, оттого и считают.

Я не позволил себе расспрашивать его подробно, но, очевидно, в его жизни что-то было, и какие-то страсти сыграли в ней важную роль.

В это время мне какими-то неисповедимыми путями удалось также приобрести благорасположение Терентия. Я, с своей стороны, не прилагал к этому никаких мер. Но отстав-

ной солдат, бывший когда-то в денщиках и оставшийся на всю жизнь у полковника, начал вдруг выказывать мне особенную любовь. Любовь эта выражалась, впрочем, только в том, что он удостаивал меня разговором, содержанием которого было постоянное ворчание по адресу полковника.

— Вот тоже, — говорил Терентий ворчливо, — тоже называется жизнь... Тоже, говорит, живу... А разве он живёт? Разве этак-то живут?

— А что же? — сказал я, желая вызвать его на некоторую откровенность.

— Да какая же это жизнь? Вот мяса не ест, а почему? Так, ни с того, ни с сего! И любит мясца поест, очень даже любит, а как только увидит, отворачивается. Опять же к этому шкафику постоянно прикладывается.

— Он выпивает? — спросил я.

— А я думаю, выпивает. Да ещё как? — с самого утра, как только встанет, с этого начнёт, да так до вечера каждые полчаса и прикладывается.

— С чего же это он?

— С чего? А с того самого.

— То есть, с чего же именно?

— Да с той самой поры, как случилась эта ихняя домашняя история.

— История? Значит, была какая-то история?

— Рассказывать не велено. Не могу рассказать. Тайна, — промолвил Терентий пониженным голосом, очевидно, глубоко сожалея, что не может рассказать мне эту тайну.

Таким образом я узнал, что тайна есть, но самой тайны Терентий мне не раскрыл. Уже месяца три прошло с тех пор, как мы с полковником стали играть в шахматы, и вот однажды, придя с двумя товарищами утром, мы заметили чрезвычайно странное на наш взгляд обстоятельство: калитка была заперта. Мы постучались, но никто нам не отпер.

— Может быть, мы слишком рано пришли? — погадал кто-то.

Постучали ещё, но ответа всё-таки не получилось. К несчастью, все мы были новички, и никто из нас не был достаточно посвящён в обычаи этого дома. Нам пришлось уйти назад. Я долго был в величайшем недоумении. Было совершенно невероятно, чтобы без осо-

бой причины так резко изменились порядки в доме полковника. В тот же день я встретил Варягина.

— Ты был у полковника? — спросил я.

— Был вчера утром, — ответил он.

— А сегодня?

— Сегодня не был, — а что?

— Да представь, калитка оказалась запертой.

— А-а, значит приехали... Значит, дня три-четыре приёма у него не будет...

— Почему же? Кто приехал?

— Ах, да, ведь ты не знаешь. Это бывает раз пять в году. К нему приезжает жена с дочерью. Уж если калитка заперта, значит — это так. Тогда мы уже не являемся, пока не отопрут калитку.

— Всё это очень странно! — сказал я.

— Да, может быть, это и странно, — ответил Варягин. — У него в семье вышла какая-то история... И никто её не знает. Одним словом, ты уж эти три-четыре дня к нему не являйся.

Я, разумеется, подчинился и в этот и на следующий день больше не пытался попасть

к полковнику. Но на другой день вечером мне случилось на улице встретиться с ним. Он ехал на извозчике с молодой девушкой, которую я видел в первый раз. Наши глаза встретились, и я раскланялся. Полковник остановил извозчика и подождал меня.

— Вот, — сказал он, — это моя дочь, познакомься!

И он представил меня своей дочери. С виду ей было лет восемнадцать; худенькая, слабая, в чертах лица, по-видимому, не было ничего схожего с лицом полковника. Как после я узнал, она была вся в мать. Тонкая, стройная, с приятным лицом, на котором особенно красивы и выразительны были тёмные глаза.

— Видишь, — сказал мне полковник, — ко мне гости приехали. Но это ничего, ты приходи... Приходи вечерком сегодня.

Я зашёл в тот же вечер. Тут я познакомился с его женой и ближе разглядел дочь. Жену звали Дарьей Николаевной, а дочь Липой. Дарья Николаевна была высокая, стройная, с несколько суровым и строгим лицом. Кажется, она никогда не улыбалась или, по крайней

мере, здесь, в этом доме. Странно было мне видеть полковника в его новой роли. Всегда спокойный, беззаботный, он теперь казался каким-то сбитым с толку. Он весь превратился в услугу, которую ежеминутно хотел оказать жене. Он смотрел ей в глаза, ловил её взгляды. Стоило ей только взглянуть на окно, как он схватывался, подбегал к окну и осматривал, не открыта ли форточка, не дует ли; стоило ей остановить свой взгляд на самоваре, который стоял на круглом столе, как полковник уже подбегал, быстро наливал чай в чашку и подносил ей. Она принимала эти услуги почти молча, с какой-то суровой сдержанностью.

И заметил я, что полковник за всё то время, что мы просидели вместе, ни разу не забежал в свою спальню и ни разу не приложился к коньяку. Вообще с ним произошла коренная перемена.

— А мы сегодня в театр едем! — сказал он мне. — У нас ложа. Не поедешь ли с нами?

Я охотно согласился, и мы все поехали в театр и заняли ложу. В антракте полковник повёл Липу осматривать фойе, мы остались

вдвоём с Дарьей Николаевной. Не знаю, хотелось ли ей кое о чём расспросить меня или просто ей показалось неловким наше молчание, но она первая обратилась ко мне.

— Вы студент? — спросила она.

— Да, я всего первый год, — ответил я.

— Вам не надоедает столица?

— Право, я не знаю. Я как-то не успел осмотреться.

— А мне скучно даже в таком небольшом городе, как Ярославль! — сказала она. — Я предпочитаю деревню. У нас так хорошо в деревне, это недалеко от Ярославля, в двадцати верстах. Но мне пришлось устроиться в городе из-за Липы. Она там училась. Летом мы живём там, в деревне. Приезжайте к нам когда-нибудь. А то, право, я боюсь, что Липа умрёт от скуки. Вы видите, какое она ещё дитя. Да и вы, кажется, недалеко ушли...

Я смутился. Мне это не особенно понравилось, но когда вспоминаю то время, то вижу, что Дарья Николаевна была права, — я тогда был ещё совсем мальчишкой.

На другой день утром я опять пошёл к ним. Перед воротами стоял извозчик, а когда

я вошёл во двор, то встретил полковника с Липой, одетых и готовых к выезду.

— Вы куда-нибудь уезжаете? — спросил я.

— Да, в пассаж. Вот хочу Липе закупить кукол.

— О, что вы, я уже не играю в куклы! — со смехом возразила Липа.

— Ну, всё равно! Ну, тряпок каких-нибудь. Ведь это та же игра, всё равно, что в куклы! Поедем с нами! — пригласил меня полковник.

Я согласился, и мы поехали в пассаж. Полковник действительно закупил своей дочери множество тряпок; он предлагал ей решительно всё, что попадалось ему на глаза, а Липа смотрела на всё это с детским восторгом и ни от чего не могла отказаться.

— Ну, что, славная у меня дочка, а? — говорил полковник, обращаясь ко мне тут же при Липе, и я, конечно, должен был с смущением смотреть на неё и воздерживаться от похвалы. Между тем, я охотно похвалил бы её, — она действительно производила на меня приятное впечатление.

Ещё дня через два Дарья Николаевна с Ли-

пой уехали. Опять калитка отворилась, и в доме полковника всё пошло по-старому.

Мы возобновили наши шахматные турниры. Но в первые дни после отъезда дам полковник никак не мог придти в своё обычное настроение. Он казался меланхоличным, говорил мало, тянул слова, реже, чем прежде, подымался и уходил в спальню. Он так искренно входил в свою роль, когда приезжала Дарья Николаевна, что все старые привычки совершенно отпадали от него.

— Да, — говорил он, — славная у меня дочка. Да лучше бы она не приезжала. Не видал я её, ну и жил кое-как, а теперь вот скучно... И заметь, всякий раз, когда они приедут, со мной вот такое делается. Теряюсь, сбиваюсь с дороги...

Я без всякой задней мысли, как-то невольно, начал зондировать его, может быть, неосторожными вопросами.

— Зачем же они уезжают? — спросил я.

— Как зачем? Они там живут...

— Значит, здесь они не могут жить? Им нельзя?

— Нельзя... Конечно, нельзя. Если б можно

было, — жили бы.

— А вы отчего там не живёте?

— Я? Отчего? Гм! Ты хочешь знать, отчего?

Ну, этого, брат, я тебе рассказать не могу.

— Простите, я ведь не знал...

— Ну, что сам... пустяки!..

И он как-то особенно сосредоточенно начал ловить своей королевой моего коня. С каким-то ожесточением он преследовал мою фигуру и затем, уничтожив её, вдруг совершенно неожиданно для меня промолвил:

— Гм... так ты хочешь знать... Да, жаль, что это так случилось. Лучше бы этого никогда не бывало.

— Я не знаю, о чём вы говорите...

— То-то и есть, что не знаешь.

По всему было видно, что полковнику очень хотелось рассказать мне какую-то историю, и вот он, наконец, на это решился.

— Эх, — сказал он, — полюбил я тебя, так уж что ж. Оно бы не следовало, да, знаешь, давно я вслух не говорил об этом, а хочется... Знаешь, бывает так, что когда носишь что-нибудь в душе, так тяжело, а когда кому-нибудь покажешь, так легче становится... Видишь,

тут вот такая история была... история пре-скверная с моей стороны. Было это давно, очень давно, совсем я тогда был ещё молодым человеком, знаешь, этак глупым офицериком. И влюблялся я, и объяснялся, словом, как все. Скажу тебе по совести, что ничего во мне особенно хорошего не было. Так жил, как другие живут, и больше ничего. А случилось однажды, что встретил я женщину удивительную. Не говорю. я о красоте... Сам видел Дарью Николаевну, и до сих пор ведь ещё красавица, а ей уж тридцать восемь лет, и много горя она вынесла. Да, так я об этом не говорю. Замечательная она женщина по другим причинам. Характера необыкновенного, и душа у неё большая... Как только я с нею познакомился, так сейчас и сам лучше стал... Знаешь, как святыня, когда человек к ней с верой прикоснётся, так сейчас душа его и очистится... Ну, познакомился я и, разумеется, сейчас же влюбился. Во-первых, я тогда влюблялся во всякую женщину, какую встречал, а во-вторых — в Дарью Николаевну и нельзя было не влюбиться, в ней было какое-то обаяние, братец ты мой, да, обаяние. Сама она была из бедно-

го семейства, но жили они не то чтоб очень скудно, а так, было у них всё необходимое и ничего лишнего. Стал я ухаживать, был принят в доме и встретил благосклонность... Одним словом, завязался у нас роман, как следует, по всем правилам. Я тебе скажу, что тут только я понял, что такое настоящая любовь, и понял я, что все прежние мои романчики и плевка не стоили... Так она мною овладела, что я сделался её рабом. Ну, сделал предложение, получил согласие и женился. Словом, вообще, как водится. И стали мы жить да поживать. Жили мы отлично. Бог дал нам дочку, слабенькая такая родилась, думали, что и не выживет, раньше сроку на свет появилась; но ничего, выходилась, вот ты её видел. Это и есть Липа... Жили мы не расставаясь лет восемь, и никогда между нами даже размолвки не было. Оно и понятно, Дарья Николаевна была выше меня на целую голову, нравственно, я говорю, нравственно. Я всегда был ничтожным человечком, а потому и подчинялся ей беспрекословно и всё делал так, как она желала; я даже мыслить стал так, как будто у меня на плечах была не моя голова, а её, и

чувствовал, как и она: к кому она хорошо относится, к тому и моё сердце лежит. К кому она немилостива, от того и я отворачиваюсь. И это не сознательно, а так как-то само собой выходило. Одним словом, нравственно я был её эхом, откликом, подражанием... Ну, хорошо. Вот так мы и жили. Дочка подрастала, счастье было у нас в доме, все нам завидовали. Но вышел один случай, чрезвычайно глупый случай... Глупый, говорю, а меж тем какие последствия. Пришлось мне уехать по делам в самый, братец ты мой, Петербург. И удивительное дело. Ехал я через Москву по железной дороге. Как только сел я в поезд, так сейчас мною овладело какое-то странное, непонятное чувство. Я вдруг почувствовал, что с меня как будто разом спали какие-то путы. Понял я в эту минуту, что все эти восемь лет я не был самим собой, а был откликом Дарьи Николаевны. Не понял я только одного, что это было хорошо. А душа моя вдруг возмутилась. Мужчина, значит, заговорил во мне, самолюбие проснулось. Гордость! Показалось мне вдруг обидно, что я перед Дарьей Николаевной такую безличность изображаю, и в эту

минуту, можешь себе вообразить, какие я чувства испытывал! Я её возненавидел. Ну, вот, прямо говорю тебе, возненавидел. Самая пылкая любовь вдруг перешла в самую ожесточённую ненависть. Это бывает. Ну, так вот поехал я в Петербург. Всю дорогу я испытывал такое ощущение, как будто голова моя была в хмелю, будто я пьян немножко. Как-то странно мне было чувствовать себя самостоятельным человеком. Вот, думаю, там сидит господин, я с ним, положим, поговорю, он мне, может быть, понравится и я почувствую к нему расположение; но если б была здесь она, и он ей не пришёлся бы по вкусу, уже я бы от него отвернулся; у меня, значит, не было бы ни своей воли, ни своего вкуса... Вот, например, рядом со мной сидит дама... у неё приятное лицо, мне приятно с ней сидеть рядом и разговаривать, а будь здесь Дарья Николаевна... Ну, и вот всё в таком роде. И я только и делал, что всю дорогу заговаривал то с тем, то с другим, знакомился, говорил очень много, возбуждённо, и все люди мне ужасно нравились, ко всем я чувствовал чуть что не любовь, — одним словом, просто я опьянел от воли...

Приехал в Петербург; я не в первый раз был в этом городе и немного знал его. И встретился я здесь со старыми товарищами. Как водится, мы кутнули, и я при этом, разумеется, и пил, и шумел, и безобразничал больше всех, потому что чувствовал себя как бы выпущенным из тюрьмы, и всё это время, говорю тебе откровенно, ненависть к Дарье Николаевне не покидала меня. Чудеса, брат, бывают в природе. Удивительная штука человеческая душа! Как бы ты думал, чем это кончилось?.. Явилась у меня жажда чем-нибудь отомстить ей за то, что в течение восьми лет я лишён был свободы, что моя личность подавлялась её личностью, и что же придумал? Ну, конечно, я не много думал об этом, оно как-то само собой вышло; ну, одним словом, пришлось мне познакомиться с одной особой... швейка она была простая, так, ничего, лицо красивое, хотя, конечно, далеко ей было до Дарьи Николаевны, даже и сравнения не могло быть... Но я тогда всё делал скоропалительно... Раз повидался, другой, уж и влюбился, и объяснился, и страстные объятия были, ну и кончилось это тем, чем обыкновенно кончается... Изменил

я, братец ты мой, моей Дарье Николаевне, изменил с ожесточением, с чувством мести, со злобой. Может быть, все эти чувства и долго бы оставались при мне, то есть, ровно столько, сколько я находился бы вдали от Дарьи Николаевны, но дело в том, что ездил-то я по службе, и отпуск был у меня короткий, и должен был я вернуться. Вот тут-то и произошла история. Как только я вернулся, прибыл домой, увидел её, так сейчас и впал в отчаяние. Опять я в её власти, опять я чувствую, что она высока, а я низок, что она совершенство, что я её преданный раб; опять овладели мной прежние чувства, и ходил я, как убитый, и не знал, куда мне деваться... А Дарья Николаевна всё это видела и проникала взглядом своим в мою душу. Видела она, что во мне происходит нечто небывалое, и прямо ко мне: «ты, — говорит, — скажи, нечего таить! таить ничего не следует, надо, — говорит, — принимать всё, как есть, и хорошее, и дурное...» Ну, я ей и сказал: «подлость, — говорю, — сделал, — так прямо и сказал — подлость сделал, такую-то и такую-то...» Даже больше, — рассказал ей про все свои чувства, которые овла-

дели мной, когда я сел в вагон, не скрыл ничего, — я перед ней ничего не мог скрывать. Поднял я голову и смотрю на неё; вижу, она окаменела совсем, братец ты мой, стоит передо мной, как мраморная, и холодом от неё таким веет, как от надгробного памятника: и говорит она мне: «нет, — говорит, — вы сделали две подлости: одну со мной, а другую с нею, с той женщиной...» А я чувствую, что это правда; конечно, так это и было: я сделал две подлости. Ну, с этого пошло. Я и молил, и рыдал, — ничего не помогло; как стала она в тот момент каменная, так и осталась. «Я, — говорит, — против вас — заметь, против вас; уж она начала мне говорить „вы“, — так сразу и начала, с того момента, — я, говорит, против вас лично ничего не имею, а только не могу... Любовь исчезла из моего сердца, а если нет любви, то, значит, всё порвалось между людьми, нет связи... А насильно нельзя. Душу нельзя насиловать...» Так ничего я и не добился. Тысячу раз я возобновлял свои просьбы, свои мольбы и рыдания: «что ж я, — говорит, — сделаю, если я не могу?» И при этом вот тебе ещё черта: после того мы прожили с

нею в одном доме целый год, и каждый месяц она напоминала мне про ту женщину, про швею, напоминала, чтоб не забыл я ей послать деньги, «потому что, — говорит, — ей нужно; может быть, она теперь в нужде, вы обязаны это делать». Я исполнял. Но тосковал же я тогда, страшно тосковал, она смотрела на меня, и, должно быть, жаль ей было... Видел я, как она тихонько плакала, но мне своих слёз никогда не показывала; на меня она смотрела холодно, немилостиво, даже, скажу тебе, жестоко, и однажды говорит: «тяжело жить нам, и вам тяжело и мне, не лучше ли нам расстаться?» — «Расстаться? — говорю я, — а как же Липа? Ведь я не могу без неё». — «Липа будет учиться. Я буду смотреть за нею. Мы будем приезжать к вам...» Я долго думал над этим, но потом пришёл к той же мысли: действительно, очень уж тяжело было нам жить вместе, а мне в особенности. И вот я переехал в Москву, купил себе здесь домик и поселился в нём. Но нет, уж того чувства, которое испытал я в вагоне, я больше не дождался. Это могло быть только один раз, а потом, когда произошло такое страшное событие в

моей жизни, я уже навеки остался в нравственном подчинении у Дарьи Николаевны. Правда, натура у меня была бурная, она стала проявляться; начал, было, я беситься, рваться во все стороны, делать глупости, но как-то скоро увидел, что всё это мне не к лицу; в моём положении, понимаешь, где уж, и стал я над собой работать. Вот тогда я бросил мясо есть и, вообще, смирился. Жизнь моя текла скучно, так, знаешь, как тяжёлое ядро, когда оно катится по равнине... Ну, вот от такой жизни и к шкафику стал прикладываться... Ещё слава Богу, что с молодёжью познакомился, всё-таки они хоть шумят, движутся, и мне не так скучно. Так-то, брат!

— Вам тяжело, должно быть? — спросил я.

— Тяжело, страшно тяжело! По натуре я семейник, а вот приходится жизнь коротать одному. И всякий раз, когда приезжает сюда Дарья Николаевна, я всё-таки начинаю умолять её, да ничего не помогает. Только спросит: зачем? И больше ничего.

С этого времени я стал ещё ближе к полковнику. И мне пришлось оказаться для него необходимым. Однажды с ним случилась ка-

кая-то болезнь: он вдруг почувствовал головокружение, схватился за сердце и упал в кресло. Я позвал врача; это не был удар, но оказалось, что у него сердце в сильном расстройстве. Я распорядился, как хозяин: запер калитку, и затем, когда товарищи встретились со мной в университете, все, знавшие о моей близости с полковником, спрашивали:

— Она приехала? Так скоро?

— Нет, — объяснил я, — она не приехала, но полковник болен, у него что-то с сердцем неладно.

Все поняли это, и никто больше не пытался стучаться в калитку. Я телеграфировал Дарье Николаевне, и на другой же день к вечеру она приехала, но одна — Липа осталась у тётки. Полковник не знал о моей телеграмме и, должно быть, не ждал её приезда. Мы с Дарьей Николаевной были в третьей комнате от его спальни и вели тихий разговор.

— Вы зайдёте к нему? — спросил я. — Конечно, зайдёте, раз вы приехали.

У неё было странное лицо. Какая-то нерешительность выражалась в её глазах; может быть, ей было очень тяжело исполнить этот

долг, но я уже успел полюбить полковника и потому на этот раз увлёкся и обратился к ней с некоторой горячностью.

— Слушайте, Дарья Николаевна, простите меня! Я знаю всё. Полковник рассказал мне... Ему очень тяжело теперь...

Лицо её выразило страдание.

— Что я могу поделать? — воскликнула она. — Ведь он сам разорвал нить, связывавшую нас! И какая это была нить... Какая это была жизнь!

Это у неё вырвалось. Затем она овладела собой и сказала с обычной сдержанностью, почти холодно:

— Войдёмте вместе, прошу вас.

Я пошёл вслед за нею.

Когда отворилась дверь, и Дарья Николаевна появилась на пороге, полковник с величайшим волнением сделал усилие, чтобы приподняться.

— Вам вредно это, — сказала Дарья Николаевна, — лежите.

— Ах, спасибо, спасибо! — говорил полковник.

Глаза его были полны слёз; в это время он

протянул мне руку и крепко пожал её.

— Видите, не выдержал, свалился... Сердце-то, сердце!.. А Липа?

— Липа осталась у моей сестры.

— А я не умру? Я ещё не умираю? — спросил полковник.

— Нет, нет, будете жить! — сказала Дарья Николаевна, стараясь, чтобы голос её звучал мягко и успокоительно.

Она посидела несколько минут и вышла. Полковник ещё раз пожал мне руку и посмотрел на меня глубоко-благодарным взглядом.

— Это ты сделал, я знаю. Недаром я тебя полюбил!

Я вышел, прошёл несколько комнат и застал Дарью Николаевну сидящей за столом с задумчивым лицом.

— Да, это страшно тяжело! — говорила она, уже теперь прямо обращаясь ко мне, как к человеку, посвящённому в тайну её жизни. — Боже, как мы легко портим себе жизнь! Если б вы знали, если б вы знали, как я его любила!

В эту минуту я дал себе слово употребить все усилия, чтобы как-нибудь смягчить её. Она оставалась несколько дней. Полковнику

сделалось значительно лучше. Перед самым её отъездом я заговорил с нею. Я говорил просто и откровенно, прямо уговаривал её, хоть в эти годы, которых, по-видимому, у полковника осталось немного, избавить его от одиночества.

— Я не знаю, — отвечала она, — не заблуждаетесь ли вы, думая, что из этого может получиться сколько-нибудь сносная жизнь?

— О, если только вы сомневаетесь в вашем муже, то я за него ручаюсь. Я знаю, что, все его мысли направлены к этому, что у него нет других желаний, и что он способен быть таким же вашим рабом, как был в те годы.

— Я ничего не могу вам сказать на это! — ответила мне в заключение Дарья Николаевна.

Едва только полковник поднялся с постели и стал выходить из комнаты, как Дарья Николаевна собралась уезжать. Мы все трое поехали на вокзал. Я держал в руках её зонтик. После второго звонка она простилась с нами, пожала нам руки и ушла в вагон. И я вдруг вспомнил, что зонтик остался у меня в руках. Я быстро побежал в вагон и совершенно

неожиданно для себя нашёл Дарью Николаевну стоящей у окна, прислонив к стеклу лоб; я окликнул её, она повернула ко мне лицо, на глазах у неё были слёзы.

— Ради Бога! — как-то невольно вырвалось у меня, и в этом восклицании она, конечно, расслышала просьбу.

— Мне жаль его, жаль! — ответила она. — Он такой несчастный...

Она уехала, не пообещав мне ничего определённого. Скоро я получил от неё письмо. Она благодарила меня за хлопоты во время болезни её мужа, писала о том, что я внушил ей прекрасные чувства, что она испытала какое-то обновление, но ни одним намёком ничего не обещала.

Перед самым летом она опять приехала в Москву уже с Липой. Липа явилась радостная, бросилась на шею отцу. Дело очень скоро разъяснилось: она была влюблена. В Ярославле она оставила жениха, который приехал туда только по делам, а жил в Москве. И вот однажды, дня за два до отъезда в Ярославль, Дарья Николаевна сказала полковнику:

— Я не могу расстаться с моей девочкой. Её

будущий муж должен жить в Москве... Что ж, придётся жить вместе...

— И вы?.. — с живостью воскликнул полковник, схватил её руку и начал осыпать поцелуями.

— Да, надо отделать квартиру для всех...

Дарья Николаевна скоро уехала с Липой; в доме полковника начались капитальные переделки; сам полковник совершенно ожил. Целые дни ходил он по двору с длинной трубкой в зубах и делал распоряжения по ремонту. Он выбросил из шкафа бутылку и больше никогда к нему не прикладывался.

— Теперь не надо, не надо, — говорил, — теперь я и без этого живой человек!

Молодёжь должна была освободить дом и перейти во флигель. Флигель стоял рядом с кухней, в нём было три комнаты, совершенно достаточные для того, чтоб шуметь, расхаживать по ним, есть бифштексы и пить кофе.

Недели через две полковник собрался в путь и уехал в Ярославль.

— На свадьбу еду! — говорил он, и лицо его совершенно расплывалось от радостной улыбки. — Вот все приедем и заживём на сла-

ву!

И действительно, дня через три приехала вся семья. Муж Липы оказался приятным молодым человеком; он служил в какой-то частной конторе, имел свои хорошие средства и был, как говорится, человеком с будущностью.

— Ну, приходите же ко мне завтра! — сказал полковник, обратившись кое к кому из молодых людей, и это, конечно, означало, что он приглашает всех, кто у него бывает в доме. — Задам же я теперь пир!

Вечером собралось у него множество народа: и дом, и флигель были полны. И это был действительно развесёлый вечер: полковник решительно сиял, говорил без умолку и всё любовался своей дочкой, да кстати и её мужем.

Началась у них новая жизнь. Но флигель после этого события не опустел, в нём только явилось больше порядка. Дарья Николаевна взяла всё это дело в свои руки, и мы скоро подружились с нею и чувствовали себя в её обществе так же свободно и хорошо, как и в обществе полковника.

Многие из старых товарищей и до сих пор ещё при встрече нередко вспоминают полковника в отставке, Казимира Ивановича Протасова.

1899